



У меня, ваше великолепие, нет ни коней, ни златотканых одежд,  
ни роскошных украшений, ни оружия.  
Все это будет в книге, которую вы держите в руках





## Тори

*Церковь Святой Гиты,  
Кэнонфорд, Соединенное Королевство  
Февраль 2019 года*

— Ибо я верю: ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни власти, ни настоящее, ни грядущее, ни могущество, ни высота, ни глубина и ни прочие твари не в силах отлучить нас от любви Божией, которая есть Господь наш Иисус Христос.

Голос викария звонко отдается под сводами почти пустой церкви. Викарий — приятная женщина средних лет с розовыми, как сахарная вата, волосами, акцент выдает в ней уроженку одного из юго-западных графств. Она сразу представилась нам как Энджи. Она мне страшно нравится.

— Маргарет приехала в нашу деревню двадцать пять лет назад, после смерти своего любимого мужа Хьюго, — продолжает викарий. — Ее достоинство, ее сострадание, ее христианская вера и острое чувство справедливости внушали любовь всем, кто был с ней

знаком. Сегодня мы вместе с ближайшими родственниками Маргарет собрались на частную службу, чтобы воздать должное ее жизни и вверить ее душу Господу. Давайте помолимся.

Мать — она сидит рядом со мной — складывает руки в черных перчатках на обтянутых черным коленях. Прямая как палка, она излучает неприязнь ко всему, что ее окружает: к каменным стенам приземистой церкви, к разноцветным викторианским витражам, к хоругвям с нашитыми на них белыми пухлыми голубями и кривыми крестами. Могу вообразить себе, что она думает про волосы Энджи. В который уже раз я поражаюсь, как бабушка с дедушкой, чье зыбкое и нежное присутствие я сейчас ощущаю (замахрившаяся шерсть, трубочный табак...), умудрились вырастить такую поразительную конформистку.

За спиной у меня раздаются приглушенные голоса, я оборачиваюсь и вижу кучку женщин, притулившихся в дальнем конце церкви у доски объявлений. Я узнаю кое-кого из бабушкиных подруг по местному Женскому клубу. Улыбаюсь им, киваю, жестами приглашаю присесть, но мама пинает меня в лодыжку. Я, видите ли, нарушаю правила. На этой службе могут присутствовать лишь члены семьи, хотя папа умер, когда я была маленькой, дети Чарли, моей сестры, болеют чем-то очень заразным, а мой муж Дункан слишком занят, чтобы приехать, поэтому в церкви только мы с мамой. Получается, мы похороним мою замечательную, щедрую, любящую бабушку по-тихому, без пафоса. Это неправильно. Нечестно.

Энджи читает псалом — тот, где «Господь — пастырь мой». Я оглядываюсь через плечо и вижу, что старушки из Женского клуба струдились на задних

скамьях, молитвенно склонив головы в шелковых платочках. В горле у меня встает ком, я зажимаю рот ладонью, но плач все же прорывается безобразным полузадушенным иканием.

Мать напрягается. На секунду ее рука в перчатке задерживается на моем локте, после чего она снова складывает руки на коленях и устремляет взгляд перед собой, прямая как палка.

Пока мама в раздражении шествует по церковной парковке к своему престарелому «ягуару», ко мне подходит Энджи.

— Тори, вы не спешите? Я успею вам кое-что сказать? Это недолго.

— Да, конечно, — отвечаю я. — Поезда мне еще ждать да ждать.

Она улыбается мне.

— Вот и хорошо. Тогда, если хотите, выпьем чаю и поговорим как следует. Я расскажу вам про бдение. Такая красивая была служба! Жаль, что вы не смогли приехать, но я не сомневаюсь — душой вы были с нами.

Я хлопаю глазами. О бдении я слышу впервые и не могу представить себе, чтобы мама это допустила. Что это, как не пафос?

— Бдение?

— Ночное бдение, последняя ночь, в часовне при похоронной конторе. Очень хорошие люди собрались. В основном, конечно, местные, но слухами земля полнится — друзья вашей бабушки приехали и из Лондона, и еще много откуда. Двое даже из Италии прилетели — у нее ведь и там были друзья, да? Она мне рассказывала, как вы с ней летали в Италию.

— Были, — говорю я. — Летали.

— Чудесные, наверное, были поездки. В любом случае, я понимаю, вам было слишком тяжело присутствовать на бдении. Просто подумала — вдруг вы захотите послушать. — Теперь она сама выглядит озадаченно. — Вы не в курсе, о чем я, да?

— Не в курсе, — отвечаю я.

— Хорошо, — говорит Энджи. — Хорошо. Да, правда, давайте лучше чаю выпьем. Я живу прямо через дорогу. Идемте.

Она берет меня под руку и ведет через крытые ворота кладбища, через узенькую улочку к симпатичному невысокому домику из серого известняка. Если честно, мне становится плоховато — я сама не своя. Мне кажется, что я сейчас по-настоящему расплачусь — впервые с того дня, как я узнала от Чарли, что бабушку отвезли в больницу. А потом Чарли позвонила еще раз — сказать, что бабушка умерла.

— Заходите. — Энджи открывает боковую дверь и ведет меня в уютную кухню, нежно-голубую с зеленым; на подоконнике выстроились кактусы, а перед большой чугунной печкой дремлет старая кошка.

Я сажусь за чисто выскобленный сосновый стол, передо мной тарелка печенья и глиняная кружка с пацифистским символом, а Энджи со своей кружкой садится напротив меня.

— Во-первых, — начинает она, — все, о чем мы здесь будем говорить, останется только между нами. Во-вторых, если вам надо поплакать — плачьте, не стесняйтесь. Я вам не судья. — Она кивает на коробку бумажных платков возле моего локтя. — И ругаться можете сколько хотите, меня это не смутит. Меня ничто не смутит. Договорились?

Какой у нее серьезный вид. Серьезный и даже обеспокоенный. У меня появляется предчувствие — поганое, тревожное предчувствие, я нутром чую, что она собирается сказать.

— Договорились.

— Хорошо. Итак, бдение. Вам действительно о нем не сказали?

— Не сказали. И я, если честно, не знаю толком, что это такое.

— Понимаю. В англиканской церкви эта практика не слишком распространена, но в нашем приходе есть обычай устраивать ночное бдение над телом умершего накануне похорон — это вроде поминок в католической традиции. Мы устраиваем его в честь тех, кто много значил для нашей церковной общины. Предполагалось, что на похоронах будут только члены семьи, так что... для нас это была возможность проститься с Маргарет, тем более что она умерла так неожиданно. Мы спросили у вашей матери, можем ли мы устроить бдение над телом Маргарет, и она дала согласие.

— Как так?

Мама считает англиканскую церковь недостойной. Не понимаю, как она могла дать добро на что-то, что хоть немного отдает католицизмом.

— Ну, не сразу, — признается Энджи. — Помому, она беспокоилась, что такая служба — это лишний труд и нервы, а вам сейчас и так тяжело. Конечно, я ее полностью понимаю, но мы собирались все организовать сами, ей не пришлось бы ничем заниматься, даже присутствовать было необязательно. И когда ей все это объяснила, она согласилась. Естественно, мы хотели первым делом пригласить вас. Для меня не секрет, что вы нечасто бываете в церкви...



— Увы.

— Да нет, все нормально. Но я знаю, что у вас с Маргарет были особые отношения. Ваша бабушка постоянно говорила о вас. Моя мама умерла от инсульта, и мне известно, какое это страшное потрясение, как больно, когда даже проститься не можешь. Поэтому я позвонила вам.

Я ставлю кружку на стол.

— Позвонили?

— Да. На мобильный не дозвонилась, даже гудка не было. Наверное, связь там, в горах, неважная.

— Ага, — говорю я, — у нас в доме сигнал плохо ловится.

— Понятно. — Энджи кивает. — В общем, я позвонила на домашний телефон, и трубку снял ваш муж. Дункан, правильно? Я рассказала ему о бдении. Он ответил, что уверен — вы захотите приехать. Сказал, что спросит у вас и перезвонит мне. И перезвонил, через полчаса. По его словам, он все вам передал, но у вас нет сил ехать. Утрата бабушки для вас ужасное потрясение, от которого вы еще не оправились. Ваш муж говорил очень убедительно. — Энджи кривит губы. — Говорил так, что я и на похоронах не ожидала вас увидеть.

Поначалу я не знаю, как отвечать. Я думаю только о том, как ругалась с Дунканом, чтобы он вообще отпустил меня на похороны. Дункан говорил, что похороны устраивают для живых, что мое присутствие бабушку не вернет. Говорил, что цены на железнодорожные билеты грабительские, что самолет — это для лохов, что номер в гостинице — это роскошь, которой мы не можем себе позволить. Говорил, что в хозяйстве без меня никак и что рваться на похороны — чи-

стый эгоизм с моей стороны. Говорил, что я только разозлюсь на свою мать, а злость буду вымещать на нем, когда вернусь. Говорил, что я не вывезу. Не вывезу.

— Тори? — напоминает о себе Энджи.

Уставившись на нее, я говорю:

— Какой же мудак. Полнейший мудак.

Энджи не говорит мне, что делать. И не говорит, как поступил бы Христос. Она просто слушает, как я матерюсь, плачу и пытаюсь собраться с мыслями, подавая мне еще чаю, печенья и, наконец, солидную порцию виски из бутылки, которую она держит у себя в кабинете. И только когда Энджи уже везет меня на станцию на своем дряхлом «рендж-ровере», она наконец говорит:

— Тори, если вам когда-нибудь понадобится угол, то у меня в доме есть комната, в которой вы можете оставаться сколько вам нужно. Хорошо?

— Хорошо, — киваю я. — Спасибо вам за доброту.

— Не за что. Ну вот, мы на месте. — Она тормозит у станции. Здание живописно, как и все в этой деревушке, идеально побеленное, с фиолетовыми цикламенами в горшках. — И еще, пока вы не ушли... Я собиралась отдать вам это раньше, но мы отвлеклись на более насущные темы.

Порывшись в сумочке, Энджи протягивает мне конверт из плотной кремовой бумаги. На конверте бабушкиным безупречным каллиграфическим почерком написано: «Виктории».

Какое-то время я держу конверт в руках и просто смотрю на него. Последняя весточка от бабушки.

— Это... — Мне надо откашляться. — Она написала это в больнице?

— Нет. Маргарет отдала мне этот конверт в прошлом году, когда переписывала завещание. Она сказала... — Энджи издает придушенный смешок. — Знаете, я тогда не очень ее поняла. Ваша бабушка беспокоилась, что если заболит, то перед смертью не успеет проститься с вами. Не с вашей сестрой, не с вашей матерью — именно с вами. Помню, я тогда решила, что она суетится, как люди суетятся, когда думают о смерти. Им надо сосредоточиться на чем-то, чтобы избавиться от настоящего страха. — Энджи качает головой. — Но теперь... Понимаете, Маргарет никогда не говорила о вашем муже, то есть не говорила о нем ничего плохого. Но я вот думаю, не раскусила ли она его.

Теперь смеюсь я — икая, сквозь слезы.

— Не исключено, — соглашаюсь я, вытирая глаза. — Меня бы это не удивило. Бабушкин дерьмометр всегда был лучше моего. Сколько раз она видела Дункана? По пальцам одной руки пересчитать. Но не исключено...

Я осекаюсь. Мне вдруг приходит в голову, что бабушка с Дунканом встречались очень редко, мне то и дело приходилось разрываться между ними. Сколько поездок на юг мне пришлось отменить, потому что на ферме в последний момент что-то стряслось? Сколько раз мне приходилось прерывать телефонный разговор с бабушкой, потому что Дункану что-то понадобилось?

— Наверное, вам нужно многое обдумать, — мягко произносит Энджи. — Если хотите о чем-то поговорить...

Слышится отчужденный, жестяной голос диктора; подняв глаза, я вижу, что поезд — мой поезд — уже подтягивается к перрону.

— Боже мой, — спохватываюсь я, — мне пора. Еще раз большое спасибо.

Я испытываю смешанные чувства — паники и облегчения. Подавшись к Энджи, я быстро обнимаю ее, после чего выбираюсь из машины и хватаю с заднего сиденья свою сумку.

— Не за что! — кричит она, когда я бросаюсь ко входу. — Приезжайте в любое время!

В вагон я вбегаю вовремя. Плюхаюсь на сиденье, пристраиваю сумку в ногах и смотрю на конверт, не зная, как поступить. Страшно хочется узнать, что там внутри. Но стоит мне распечатать конверт, стоит прочесть все, что бабушка хотела мне передать, — и я не смогу пережить этот момент откровения снова. Все слова будут уже сказаны.

Когда поезд приближается к бристольскому вокзалу Темпл Мидз, любопытство побеждает. Я разрываю конверт. Внутри один-единственный листок.

*Милая Тори,*

*Возможно, мы с тобой больше не увидимся, поэтому хочу сказать, что я оставила вам с сестрой по 30 000 фунтов. Можешь использовать их на любые цели, как тебе угодно. Мое единственное условие — не тратить их больше ни на кого. Это деньги для тебя и только для тебя. Как ты ими распорядишься — не мне решать.*

*Но будь это в моей воле, моя дорогая Тори, я сказала бы тебе: поезжай во Флоренцию. У меня остались о ней*

КЭТ ДЕВЕРО

такие дивные воспоминания! Мои флорентийские воспоминания прекрасны. Конечно, они о тебе, но я помню и себя — молодую женщину, свободную, имевшую средства, чтобы жить так, как хочется. Я не могу дать тебе этой свободы, хотя я часто жалею, что ты не взяла ее сама. Возможно, я смогу дать тебе средства.

С любовью,  
Ноппа\*

\* Бабушка (ит.).



## Стелла

Ромитуццо,  
Тоскана, Италия  
Февраль 1944 года

Моя подруга БЕРТА ГАЛЛУРИ БЫЛА ГЕРОИНЕЙ Сопротивления. Если бы она осталась в живых, то наверняка вошла бы в число великих женщин двадцатого столетия, интеллектуалок и борцов вроде Лидии Менапаче, Ады Гобетти, Тины Ансельми, Карлы Каппони, Россаны Россанды\*. Если бы только она осталась в живых.

\* Лидия Менапаче (1924—2020) — участница Сопротивления, сенатор от Партии коммунистического возрождения. Ада Гобетти (1902—1968) — журналистка, антифашистка. Тина Ансельми (1927—2016) — первая женщина-министр в истории Итальянской Республики. В годы Второй мировой войны связанная партизанского отряда. Карла Каппони, «Маленькая англичанка» (1918—2000), — политик, в годы Второй мировой войны участница партизанского движения. Россана Россанда (1924—2020) — журналистка, участница Сопротивления, левый политик, деятельница феминистского движения. — *Здесь и далее примеч. перев.*

В сентябре 1943 года, когда пришли нацисты, Берте было девятнадцать. Одаренная девушка из семьи антифашистов, дочь нашего местного аптекаря, она изучала литературу во Флорентийском университете. В тот день, когда, открыв ставни, она увидела, как по виа Романа марширует колонна немецких солдат, она тут же решила уехать домой в Ромитуццо. Не как связанная вроде меня, не как боец вроде ее брата Давиде — хотя женщины тоже сражались с оружием в руках, и их было больше, чем вы думаете, — а как организатор.

Берта была прирожденным организатором. Через несколько недель после ее возвращения в нашем городке уже работала и ширилась сеть из девушек и женщин, которые передавали сообщения, тайком проносили нелегальную литературу и фальшивые документы, доставляли все необходимое партизанским отрядам, собиравшимся в горах к югу от Флоренции. Среди наших партизан были старые и молодые, коммунисты и социалисты, монархисты и либералы, католики, троцкисты и анархисты. Одни впервые взяли в руки оружие, другие уже успели послужить в армии или полиции. И если все эти столь разные люди готовы были сплотиться для борьбы, следовало помогать им во всем.

Берта отлично это понимала. Женщины из ее сети не принадлежали ни к какой партии, не поддерживали никакой лагерь. Мы просто в нужное время отправлялись туда, где нас ждали, мы работали для всех, кто в нас нуждался, и никогда не увиливали. Это и было мое Соппротивление: повседневная рутина, состоявшая из записок на папиросной бумаге и пистолетов в хозяйственных сумках, из вылазок вокруг шко-

лы, церкви и дома. И если я не могу рассказать вам ничего примечательного, то лишь потому, что мое Сопротивление было неприметным, тихим, необходимым. Но оно тоже было опасным.

Вечером пятнадцатого февраля сорок четвертого года Берта Галлури возвращалась из Флоренции — она ездила туда за экземплярами подпольного бюллетеня «Рабочая борьба»\*, которые собиралась распространить в Ромитуццо. Бюллетень она, как обычно, зашила в подкладку сумочки. Когда она сошла с поезда, ее остановил немецкий солдат, проверил у нее документы и заглянул в сумку. Обычная проверка, Берте не раз случалось проходить такие, но на этот раз солдат попался остроглазый. Может, расползлась старая изношенная подкладка, много раз распоротая и снова зашитая, а может, черная типографская краска мелькнула через прореху в шелке. Солдат забрал у Берты сумочку, разорвал подкладку и нашел спрятанное.

Сладить с Бертой оказалось непросто — так рассказывают те, кто там был. Когда немцы запихивали ее в грузовик, она дралась, как кошка, визжала и царапалась. На рассвете следующего дня ее изуродованное, поруганное тело подкинули к дверям отцовской аптеки на пьядца Гарибальди, в центре города, в нападении тем, кто отважится сопротивляться.

Моя подруга Берта Галлури была сильной женщиной — вы и представить себе не можете, насколько сильной. Она умерла, не выдав ни единого имени. Я знаю об этом, потому что наша небольшая сеть продолжила

\* Еженедельный орган троцкистского Коммунистического союза.



существовать. Я знаю это, потому что немцы не пришли за мной.

Тем утром я, слава богу, не видела тела несчастной Берты. Я даже не знала, что ее схватили. Я собралась в школу, но когда спустилась, чтобы приготовить себе завтрак, то увидела, что отец сидит за кухонным столом, закрыв лицо руками, и поняла: что-то стряслось.

— Папа, что случилось? — спросила я. — Почему ты не в гараже?

Отец поднял голову. Он был крупный, импозантный мужчина, чем-то похожий на Пеппоне из «Дона Камилло», но в тот день он казался изможденным и старым.

— Акилле ушел открывать гараж, — сказал он каким-то не своим голосом. — Мама дома, она прилегла.

Если мать все еще в постели, значит, наверняка стряслось что-то серьезное. Я села рядом с отцом и стала смотреть, как он трет ладонью лицо. Я, честно сказать, не знала, что делать, да и отец вряд ли знал. Наконец я положила руку ему на запястье, и он ненадолго стиснул мою ладонь своими грубыми пальцами. А потом вынул из кармана чистую тряпку и прижал к глазам.

— Стелла, обещай, что не станешь связываться с партизанами. Мы и так тревожимся за твоего брата, хватит с нас. Дай честное слово.

— Даю тебе честное слово, что не стану связываться с партизанами, — сказала я. И формально даже не соврала, потому что я уже с ними связалась. К тому времени я состояла в сети Берты уже несколько месяцев.